

Всю неделю в Казани я удивлялся: отчего этот город кажется мне, русскому, таким близким и даже родным? Может, думал я, дело в голосе крови? В том, что русские гены, славянские по преимуществу, перемешались и с генами тюрков, образуя в итоге гремучую евразийскую смесь? А значит, каждый из русских смутно слышит и голос прародины, Дикого Поля, откуда когда-то, в эпоху великого переселения народов пришли наши дальние предки.

Они принесли с собой не одни только гены, но язык и обычаи, утварь, одежду, без которых ныне мы не можем представить ни русского традиционного быта, ни русского языка. Одно только слово “айда!”, одинаково внятное что татарским, что русским мальчишкам, уже говорит о взаимосмешении языков.

Когда же, гуляя по старой Казани, видишь татарские избы или, к примеру, татарские самовары, телеги и валенки (но это уже, ясное дело, больше в музеях), когда хлебаешь лапшу или пьёшь чай с татарскими пирогами, то и совсем забываешь о том, что ты не в Калуге, а в древней столице татарской земли.

Или всё дело в том, что Россия, какую её представляем и мы, да и весь прочий мир, есть страна безусловно имперского и мышления, и поведения, что Россия-империя начала зарождаться именно здесь, в устье реки Казанки, в год 1552-й от Рождества Христова? До покорения Казани Московская Русь была всего лишь одним из рядовых государств на востоке Европы, но включив в свой состав Казанское ханство, она стала стремительно (словно ей, наконец, развязали и руки, и ноги) шириться в сторону Азии, и всего за сто лет вышла к Тихому океану, превратившись в империю необъятных размеров.

Или это необъяснимое чувство сроднённости с городом вызывали вовсе не рассуждения о российской истории, а обилие юных, смеющихся лиц, нескончаемый праздник студенческой жизни, кипящий в Казани с рассвета и до рассвета? Казань – едва ли не самый студенческий город России: каждый шестой её житель – студент.

А ведь все мы, если вдуматься, родом даже не только из детства, но ещё и из юности. Недаром она и снится так часто: душа вновь и вновь возвращается в годы, когда мы, молодые студенты, только что вылетев из родительских гнёзд, начинали свой собственный путь в этом мире. А в Казани не нужно и снов о студенческой жизни: она и так окружает на каждом шагу, заставляя

почувствовать даже себя самого — на шестом-то десятке! — ещё молодым. Да и то сказать: коль уж приехал в Казань на учёбу, так и веди себя, как студент: спать ложись за полночь, пей вино на скамейках казанских садов и обедай в дешёвых столовках, где густо кипит, веселится, толкается беззаботный казанский студенческий люд.

А в старых, чудесных казанских садах — что в Эрмитаже, что в Лядском, у ног Гавриила Державина, что в саду возле Чёрного озера — мне порой начинало казаться: я знаю Казань вообще с незапамятных лет, ещё как бы прежде начала собственной жизни. В майских сумерках, где дышала сирень и сочно щёлкали соловьи — вы часто слышите соловьёв посреди миллионного города? — в этих сумерках чудилось: я возвращаюсь в тот рай, из которого нас когда-то изгнали, но куда мы ещё не теряем надежды вернуться...

В Казани действительно чаще, чем где-либо в прочих местах, начинало казаться, что рай существует: задача лишь в том, чтоб найти туда путь, чтобы не миновать, в суете и насущных заботах, ту заветную тропку, которая и приведёт нас туда, куда все мы — и старый, и малый — желаем вернуться. Тема рая была, так сказать, лейтмотивом Казани. Может быть, именно это и было главной причиной того, что Казань мне казалась родной и знакомой, хоть я никогда прежде не был в этом особенном городе, объединившем религии, нации и времена.

Помимо всего остального, Казань — родина русской мемуаристики. Какая русская мемуарная проза девятнадцатого века наиболее читаема и почитаема до сегодняшних дней? Конечно, это аксаковская трилогия — “Семейная хроника”, “Детские годы Багрова-внука” и “Воспоминания” — и это трилогия Льва Толстого — “Детство”, “Отрочество”, “Юность”. Но ведь значительная часть как одного, так и другого мемуарного сочинения родом, так сказать, из Казани. “Воспоминания” Аксакова (как и позднейшее добавление к ним, очерк “Собиране бабочек”) повествуют о том, как подросток Серёжа Аксаков учился в Казани: сначала в гимназии, а затем в университете.

“Юность” Толстого тоже имеет казанские корни. Хотя местом действия в книге указаны Москва и московский университет, но в реальности те впечатления, из которых выросла “Юность”, Толстой вынес из университета казанского: именно там, на двух его факультетах он проучился неполных два года. И как Николенька Иртеньев — это, по сути, сам молодой Лев Толстой, так и Москва “Юности” — это, на самом-то деле, Казань.

О чём вообще рассказывает писатель, когда он вспоминает детство и юность? Он повествует о рае, о той светлой поре, когда мир ещё не был испорчен ни смертью, ни временем, ни разгулом страстей, когда всё, что происходило на детских глазах, озарялось таинственным внутренним светом и смыслом. Это не значит, конечно, что в детстве не было слёз и печалей, но, как облака неспособны совсем закрыть солнечный свет, всё равно доходящий до нас, так и горести детства не заслоняют ребёнку божественной радости жизни, которой пронизано всё бытие.

И в этом смысле литература о детстве всегда оживляет в нас память о рае. Даже просто-напросто вспомнить те книги о детстве, которыми так богата русская литература, и то бесконечно отраднo. “Лето Господне” и “Богомолье” Ивана Шмелёва, “Детство Никиты” Алексея Толстого, “Курымушка” Пришвина и “На тёплой земле” Соколова-Микитова — это же золотой фонд нашей словесности!

А бунинский шедевр — “Жизнь Арсеньева”? А “Сон Обломова”, составляющий сердцевину знаменитого романа Гончарова? Неудивительно, что повзрослевший Илюша Обломов, ещё сохранивший в душе своей память о том детском рае, в котором он некогда жил, так не хотел, отрываясь от грёз, участвовать в той бестолковой, постылой и злой суете, которую он не желал и не мог признавать настоящею жизнью.

А Набоков с его заклинанием: “Speak, memory” — “Говори, память”? Он воскресил берега своего петербургского детства с такою волшебною силой, что кажется, ты и сам бродил там, на “других берегах” речки Оредежь, с рампеткой или велосипедом.

А “Высокие жаворонки” Петра Краснова? Даже послевоенное нищее детство, проведённое автором в оренбургской глуши, — в аксаковских, надо заметить, местах — оставляет в душе столько света, что хочется снова вернуть-

в ты скудную и в то же время такую богатую радостью жизнь, тем более что и последнюю фразой своей замечательной книги автор нам обещает, что “всех оно ждёт нас, возвращение”...

Речь, конечно же, о возвращении в рай. Литература о детстве поэтому — это как бы всегда “репортажи из рая”, свидетельства очевидцев, которые в том раю жили и сохранили живую и верную память о нём.

Но вернёмся к Аксакову — первому, кто подарил нам “репортажи из рая”. Не в этом ли — в воскрешении изначального, безгреховного состояния нашей души — и состоит главный секрет аксаковской прозы? Иначе как объяснить тот живой интерес, с каким и донныне читаются все его книги? Казалось бы, что нам за дело до жизни семейства Багровых-Аксаковых, прозябавших в степной оренбургской глуши, да ещё два с лишним века назад? Тем более что в этой жизни не было ни каких-либо громких событий, ни ярких героев — ничего из того, на чём обыкновенно держится литературное повествование. Или где, на худой-то конец, выкрутасы и изыски формы, где всё то, на чём так нередко, при крайней скудности содержания, пытается “выехать” современная проза? Но у Аксакова нет даже этого, его голос тих и спокоен, его речь проста, его обороты естественны, словно дыхание, и поэтому, словно дыханье, они почти незаметны.

И при этом Аксаков достигает поразительного эффекта: от его книг нельзя оторваться. Похожее чувство ещё возникает, когда смотришь в огонь или на снегопад, или, скажем, сидишь на речном берегу... Когда сама жизнь, сам её бесконечный и благотворный поток течёт перед тобой. Проза Аксакова оказывает неизменно целительное воздействие. Будь моя воля, я бы продавал его книги в аптеках и прописывал бы, вместо приёма каких-нибудь транквилизаторов, читать каждый день две-три страницы аксаковской прозы. Ведь, в конце-то концов, главной причиной наших болезней и наших несчастий является грехопадение, наше изгнание из рая, и действительно исцелить нас способно лишь то, что воскрешает в душе память о рае и пробуждает надежду когда-нибудь этот утерянный рай обрести.

Литературная судьба Аксакова и его сочинений воистину удивительны. Добрый барин и отец многочисленного семейства, отдавший немало лет государственной службе — сначала цензурному комитету, затем межевому училищу, — театрал и театровед, друг актёров и литераторов, Аксаков, кажется, даже и не помышлял о серьёзных литературных трудах. К своим пятидесяти годам он напечатал лишь несколько театральных и литературных рецензий да несколько стихотворений. Так бы, казалось, и доживать ему век хлебосольным стареющим барином, собирающим по субботам в своём подмосковном Абрамцеве кружок тех людей, кого позднее окрестят “славянофилами”.

Но муза — дама капризная и своевольная. Нет, чтобы навещать пылких юношей с огненным взором, с “кудрями чёрными до плеч” — ей, видишь ли, приглянулся полуслепой седовласый старик. Аксаков, кажется, и сам был в недоумении: оно сквозит и в известном его письме Гоголю. “Я затеял написать книжку об уженье не только в техническом отношении, но в отношении к природе вообще; страстный рыбак у меня так же страстно любит и красоты природы; одним словом, я полюбил свою работу и надеюсь, что эта книжка не только будет приятна охотнику удить, но и всякому, чьё сердце открыто впечатлениям раннего утра, позднего вечера, роскошного полдня и пр. Тут займёт свою часть чудесная природа Оренбургского края, какую я звал её назад тому сорок пять лет. Это занятие оживило и освежило меня” (1845).

По сути, литературный дебют Аксакова состоялся в 1847 году (год первого выхода в свет “Записок об уженье”), когда писателю было уже 56 лет. И его книга была сразу принята, как яркое литературное — именно литературное! — событие. Тот же Гоголь, который уж никак не разделял рыболовных увлечений Аксакова, прочёл эту книгу с восторгом, от доски до доски.

“Записки об уженье”, действительно, очаровывают с первых страниц, уже начиная с эпиграфов. Их четыре, и один лучше другого. “Делу время, и потехе час”, “Охота пуще неволи”, “Охоту тешить — не беду платить” — и, наконец, то самое стихотворное послание Дмитриеву, из-за которого разгорелось столько цензурных скандалов. Уж, казалось бы, что могло быть невиннее строк:

*Есть, однако, примиритель,  
Вечно юный и живой,  
Чудотворец и целитель —  
Ухожу к нему порой.  
Ухожу я в мир природы,  
В мир спокойствия, свободы,  
В царство рыб и куликов,  
На свои родные воды,  
На простор степных лугов,  
В тень прохладную лесов  
И — в свои молодые годы...*

Но этот эпиграф сначала был запрещён, затем разрешён, но без слова “свобода” — его заменили отточием — и лишь перед самой смертью Аксакова, в 1856 году государственная цензура позволила, наконец, без купюр напечатать эти “крамольные и вольнодумные” строки.

Но государство мудрее, чем кажется. Рыболовная книга Аксакова — действительно, антигосударственная крамола. Ведь её автор — певец и защитник той частной жизни, с которой государство, — порой слишком рьяно и прямолинейно понимая свой долг, — неустанно сражается. Причём в азарте и рвении этой извечной борьбы забывается, что вслед за тем, как зачахнет та независимо-частная жизнь, которая так порой нарушает покой государства и причиняет ему столько разных забот, — вслед за тем вырождается и само государство.

В этом смысле Аксаков — бунтарь и борец, как ни странно относить эти громкие титулы к тишайшему и добрейшему человеку. Он, певец частной жизни и тихих утех на лоне природы, как будто предвидел, каким испытаниям, бедам, гонениям скоро подвергнется то, что он так защищал и любил: и природа, и частная жизнь человека. Век, сменивший аксаковский, — век страшных войн, революций и катастроф — попытался не просто отнять у людей их свободу и право на частную жизнь, но посягнул на человека как такового. И мировые войны, и жернова тоталитарных режимов, и рецидивы почти первобытного варварства — такие, как европейский фашизм или каннибализм красных кхмеров в Камбодже, — всё это было, по сути, сатанинской атакой на человека, стремлением превратить человека из сына Божьего в механический, то бездумно-покорный, то остервенелый придаток социума, в то безликое и бессердечное “мы”, о котором так сильно и страшно написал Евгений Замятин.

И вот в этом контексте тишайшая проза Аксакова обретает важнейший, спасительный смысл. Лишь теперь, осознав, что оставили мы за спиной, мы можем взять в руки томик Аксакова с той, выражаясь по-старому, слезой умиления и благодарности, каких и заслуживает эта великолепная проза. Так и мерещится, что не удилище держит Аксаков в руке, а копьё Победоносца, и хочется верить, что “сим — победиши...”

Позволю себе ещё одно отступление, необходимое для того, чтобы точнее оценить всё значение аксаковской прозы.

Среди многих оценочных характеристик литературы допустима ещё и такая: в какую сторону — в ад или в рай? — увлекает читателя автор? К сожалению, чаще мы видим движение вниз. Можно сказать, что литература Европы вслед за своим предводителем Данте уже семь веков спускается по кругам ада и оставляет об этом своём нисхождении более или менее талантливые путевые отчёты. Звуки “Divina Commedia”, чьи строки ныне начертаны, как на скрижалях, на стенах флорентийских домов, — это камертон, по которому строилась вся позднейшая литература Старого Света. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что направление в ад — столбовая дорога европейской литературы. Все большие её достижения — от Бальзака до Кафки — это живописание ужасов жизни и бедн человеческой низости.

Думаю, что Томас Манн, знавший литературу Европы, как мало кто её знал, потому и назвал русскую литературу “святой”, что он почувствовал в ней иной вектор. Не разоблачать и не опускать человека на дно, в смрад и грязь его низшей природы, а пытаться поднять, просветлить и спасти человека как сына Божьего — вот в чём русская литература (если взять её обобщённо) видела долг и задачу писателя.

И вот в этом смысле Аксаков — тишайший и скромный писатель — составляет противовес, антитезу и, так сказать, противоядие Данте и всей “последдантовской” литературе. Он писал рай — пусть рай маленький, тихий, почти незаметный на фоне всех тягот, трагедий и ужасов жизни; но ведь даже один глоток свежего воздуха или чистой воды способен порою спасти человека, умирающего от жажды или удушья.

Предлагаю читателю — да и себе самому — отдохнуть, прочитав, например, эти строки о летнем ужине в полдень:

“Полдневное уженье на лодке имеет, по крайней мере для меня, своего рода совершенно особенную прелесть. Для многих она покажется непонятною; для многих даже невыносимы палящие лучи летнего полдневого солнца, которое, отражаясь в воде, действует с удвоенною силою; но я всегда любил и люблю жары нашего кратковременного лета. Пышет знойный полдень. Совершенная тишина. Не колыхнет зелёный, как весенний луг, широкий пруд, затканый травами, точно спит в отлогих берегах своих; камыши стоят неподвижно. Материк и чистые от трав протоки блестят, как зеркала, всё остальное пространство воды сквозь проросло разнообразными водяными растениями. То ярко-зелёные, то темноцветные листья стелятся по воде, но глубоко ушли корни их в тинистое дно; белые и жёлтые водяные лилии, цвет лопухов, попросту называемые кувшинчиками, и красные цветочки тёмной травы, торчащие над длинными вырезными листьями, разнообразят зелёный ковёр, покрывающий поверхность пруда. Какая роскошь тепла! Какая нега и льгота телу! Как приятна близость воды и возможность освежить ею лицо и голову! Рыбе также жарко: она, как будто сонная, стоит под тенью трав. Завидя лакомую пищу, только на мгновенье лениво выплывает она на чистые места, пронзаемые солнечными лучами, хватает добычу и спешит под зелёные свои навесы...”

Аксаковские “Записки об уженье” стали одной из любимейших книг и моего детства. Их влияние на семилетнего мальчика было столь велико, что я, презирая леса капроновые, современные (ведь о них у Аксакова ничего написано не было!), мечтал, как бы мне поймать лошадь, надёргать волос у неё из хвоста или гривы, и насучить лес настоящих, волосяных — тех, на которые автор книги выуживал славных своих голавлей и язей.

И крючки я сгибал из булавок, и поплавки вырезал из древесной коры, чтобы быть ближе к тексту аксаковской книги. Немало часов я провёл на полу, разложив пред собой самодельные снасти, перебирая их, перекладывая так или эдак — и, конечно, мечтая о том, как я буду ловить ими рыбу. Мотвила, крючки, поплавки и грузила тогда словно бы оживали: я слышал и плеск переката, и видел, как резко и наискось поплавок идёт вглубь, и чувствовал, как упруго пульсирует леса, взрезая тугую поверхность воды...

И, конечно же, эти мечты были много богаче того, что потом совершалось в реальности. Жизнь, в которую я понемногу входил со своим детским запасом крючков, поплавок и мечтаний, была куда как скупа на рыбацкое счастье. Первая добыча, которую я взял в руки, была вообще дохлой плотичкой, прибитой волною к прибрежной траве. Я прутиком долго выталкивал эту рыбку на берег, чтобы потом побежать с нею к бабушке Марье Денисовне.

— Неужели сам поймал? — удивилась она.

— Сам... — буркнул я, отчасти сказав бабушке правду: ведь я же действительно долго выуживал эту рыбежку из речного затона.

В тех же курских краях, где прошло моё раннее детство, я поймал первых своих карасей: именно с них начиналось моё рыболовное поприще. Лучше ловился карась даже не на тимском пруду — широченном, привольном, со стадами гусей и коров, бродящими по его берегам, — а ниже плотины, в густых ивняковых кустах, в заводях илистой речки, которую кое-где можно было и перепрыгнуть. Поражало то, как в этой тёплой и серой воде, подёрнутой пухом гусей и настоянной на гусяном помёте, могло ловиться что-либо путное? Но стоило скатать хлебный шарик размером с горошину, насадить его на крючок, опустить снасть в какой-нибудь тихий затончик, как вскорости перьевой поплавок привставал, а потом и ложился на серую воду... Караси попадались отменные — не ухватишь одною рукою (тем более, детской) — и, когда клёв был хорошим, тот истоптанный пятак возле грязной воды, на котором я, восьмилетний, едва мог примоститься, для меня становился воистину раем. Ничего, что мой рай был невзрачен и затрапезен — иной человек,

покажи ему это местечко, просто-напросто плюнул бы да отвернулся, — но я бы, наверное, целую вечность способен был, как зачарованный, следить за движениями поплавок, затем подсекать, выволакивать из воды туго бьющихся карасей, бросать их в ведёрко и снова, дрожа от азарта, забрасывать снасть.

Но я подрастал, и караси Тима куда-то пропали — возможно, туда же, куда ушло детство. Наступало тяжёлое, смутное время отрочества, когда изначальная детская чистота нашей жизни и нашего взгляда на мир начинает тускнеть, когда гормональные бури надолго скрывают от нас то лазурное небо, какое мы видели в детстве. Трагедия подросткового возраста именно в том, что он, этот возраст, нечист — как обычно бывает нечистым, покрытым прыщами и само лицо отрока.

И даже рыбачить в те годы чаще всего выпадало в каких-то нечистых местах. Мой приятель Вадим приохотил меня к ловле на закидушки; и мы, оседлав велосипеды, поутру выезжали на берег Оки, на то место, которое называется “камни под ЛЭП”. Там сквозь камни пологого берега сочилось множество родников; и эта смесь ледяной вязкой грязи и серых камней производила тоскивое, безотрадное впечатление. И кой чёрт таскал нас на это унылое место? Там негде было не то что присесть — всюду чавкала грязь, — но там не на что было даже взглянуть, чтобы хоть ненадолго дать отдых глазам.

А сама ловля? Это был, в сущности, промысел — столь же безрадостный, как и окрестный пейзаж. На четыре крючка закидушки насаживались червяки (сколько их, бедолаг, извели мы за летний сезон!), потом грузило-ложка закидывалось подальше на стрезень реки, четыре крючка, трепеща, улетали за ним, и слабина лески выбиралась на длинное мотовило, которое с хрустом втыкалось меж илистых скользких камней. Забросив пятую или шестую донку, пора было возвращаться к первой, чтобы проверить её, поменять обтрепавшихся червячков да снять с неё пару склизких ершей, которые всегда заглатывали наживку, что называется, “до хвоста” и которых поэтому приходилось, снимая с крючка, чуть ли не выворачивать наизнанку.

Ерши были главной, а часто и вовсе единственной нашей добычей. Промучившись целое утро, не видя перед собой ничего, кроме ила, камней, ершей да червей, мы цепляли на рули велосипедов проволочные садки, с которых соплими тянулась ершинная слизь, и, грязные с головы и до ног, полумёртвые от усталости и от жары, отправлялись домой. В довершение надо сказать, что моя матушка, с отвращением взглянув на улов, ершей обычно выбрасывала — и это делало нашу рыбалку совсем уж абсурдной.

И вот только теперь, глядя на маниакально-упорные эти рыбалки с расстояния почти в сорок лет, я могу осознать, что они воплощали как раз те томленья души, что меня изнуряли в подростковые годы. Да, жизнь, что меня окружала, была непонятно-бессмысленна и безотрадна, но я чувствовал, что мне обязательно нужно пройти сквозь неё — как сквозь тяготы тех безотрадных ершиных рыбалок. Отказаться от них я не мог, как не мог отказаться от жизни.

Может, не будь в моём прошлом тех подростковых, упорных, но безрезультатных попыток поймать настоящую рыбу, то жизнь не подарила бы мне, спустя двадцать лет, тех рыбалок на Рессете, без которых я бы так и не знал, что такое рыбацкое счастье?

Рессета — это имя чудесной реки, протекающей северной Брянска. По ней посчастливилось мне ходить на байдарке сразу с отцом и сыном — все мужчины семейства Убогих усаживались в одну лодку — и довелось ловить замечательных щук. Так, за неделю похода мой двенадцатилетний сын Дима поймал ровно дюжину щук, причём очень приличных, что мне в моём детстве даже не снилось. А ловили мы, в основном, на дорожку, сочетая две радости сразу: радость движения по живописной реке, по её поворотам и плёсам, затонам, быстринам и радость рыбалки. Я сидел впереди и направлял лодку по самым заманчивым, с точки зрения рыбы, местам, отец занимал позицию в центре: он был ответственным за подсачек, а Дима с кормы спускал блесну-колебалку, которая так часто цепляла коряги, что сын то и дело кричал:

— Пап, табань — зацеп!

Оттабанить, то есть подняться вспять по реке, на быстром течении было непросто, и мы с отцом упирались, что было сил. Зато меж зацепами случались и шучьи хватки. Тормоз катушки трещал, сын истошно орал: “Не гребии-и!” — а мы с отцом, обернувшись, с обмиранием сердца следили, как Дима тягается с крупной рыбой.

— Не спеши! Не сорвись! — кричал я то сыну, то щуке (хотя вряд ли кто из них меня слышал).

Порой щука делала “свечку” — блесна ярко вспыхивала в её раззявленной пасти — и плашмя падала в реку. Ух, как гнулось удилище, как леса внагтя резала воду, и как Димкины пальцы судорожно крутили катушку! Когда щука была уже недалеко от байдарки, Димка вопил:

— Дед, сачо-ок! — и мой отец, давно державший подсачек наготове, опустил его в воду — так, что мотня ячеи расправлялась течением, продолжающим уносить нас, байдарку и нашу добычу. А в воде уже был различим мускулисто-пятнистый клубок — то белое брюхо, то страшная морда крутящейся щуки — и скоро отец, понатужась, тащил из реки тяжеленный подсачек, в котором дугой провисала внезапно затихшая рыба. Наш дружный и торжествующий крик оглашал берега Ресеты; с отмели, испугавшись, взлетала огромная серая цапля; а сердце моё вдруг сжимала печаль: ведь жизнь оказалась беднее ещё на одну — так чудесно сбывшуюся! — мечту...

Поговорим ещё об уженье, точнее, о том, как рыболовная тема представлена в литературе.

И уж если начинать такой разговор, так с главной книги, с Евангелия. Разве случайно Христос избрал первыми учениками именно рыбаков — не торговцев, не воинов, не ремесленников, не земледельцев, — разве случайно Он именно “ловцам рыб” назначил стать “ловцами человеков”? Не забудем, что именно рыбной ловлей отмечено и начало, и завершение евангельского поведствования. Призвание рыбаков в апостолы — это один из первых шагов, какие Христос совершил на пути к Голгофе и Воскресению. Но и после распятия Он снова является рыбакам — уже не на Галилейском, а на Тивериадском озере, — помогает им вытащить сеть, в которой запутались сто пятьдесят три рыбы, и затем делит трапезу с рыбаками.

А Его проповеди с лодки, обращённые к людям, собравшимся на берегу? А чудо с монетой-статиром, найденной внутри рыбы? А хождение по воде, “аки посуху”? Очевидно же, что всё это были и проповеди, и чудеса, совершавшиеся в окружении рыбаков, сетей, лодок и всех атрибутов рыболовецкого промысла. Так что не будет большою натяжкой сказать, что мировая рыболовная литература восходит к самой Книге Книг.

Но кого же считать первым автором собственно “рыболовного” сочинения? Чешского епископа Иоанна Дубравия, чей трактат об уженье датирован 1488 годом? Или аббатису Джулиану Бернерс, которая описала ловлю рыбы на мушку ещё в 1496 году и чьими сведениями позднее воспользовался крупнейший авторитет рыболовного мира, англичанин Исаак Уолтон?

Книга Уолтона “Совершенный рыболов, или Досуг созерцателя”, увидевшая свет в 1653 году, выдержала с тех пор более 550-ти изданий, и на сей день является третьей (!) по популярности книгой англоязычного мира — после, разумеется, Библии и пьес Уильяма Шекспира. Сам же Исаак Уолтон прожил долгую жизнь — 90 лет, — деля её между религией, благотворительностью, литературой и рыбной ловлей. Он почил в Стаффордшире, где и доныне его портрет с книгой и удочкой украшает витражи англиканских церквей.

Вообще попытка хотя бы кратчайшего обзора литературы, посвящённой рыбалке, подобна усилиям вычерпать море стаканом. Не претендуя на это, я хочу всего лишь упомянуть несколько книг “рыболовного” направления, которые прочно вошли в золотой фонд мировой художественной литературы.

Вот “Моби Дик”, книга столь грандиозная, что современники даже и не смогли оценить по достоинству эту громаду. Лишь спустя почти век стало возможным увидеть роман Германа Мелвилла в полный, так сказать, рост. Разумеется, я понимаю, что кашалот не рыба и что, говоря строго, роман “Моби Дик” не столько “рыболовецкий”, сколько “охотничий”. Но стихия воды так живёт и так дышит в романе, что кажется, что даже не Белый Кит, а сам Мировой Океан является главным героем повествования. А ведь, если вдуматься, главной темой любого “рыболовецкого” сочинения является даже не столько лов рыбы, сколько прикосновение к водной стихии, обретение тех смыслов, энергий и тех утешений, что нам так щедро дарит вода.

Главный рыбак в литературе двадцатого века — конечно, Эрнест Хемингуэй. Недаром он получил Нобелевскую премию именно за “Старика и море” — повесть о мальчике, старике и большой рыбе. А его рассказы “Не в сезон”,

Что-то кончилось” и “На Биг-ривер”? А чудесные рыболовные сцены “Фиесты”, которые я перечитываю куда чаще, чем, скажем, сцены боя быков? Несомненно же, что и Джейк Барнс, и его друг Билл, уходя в горы Испании за форелью, хотя, в сущности, совершить бегство в рай, уйти прочь из мира, где убивают быков и людей, где души маются меж опьянением и похмельем и где все так непоправимо несчастны...

А рассказ “На Биг-ривер” вообще стал моим талисманом. Всякий раз, отправляясь куда-нибудь странствовать, особенно если меня ждёт река и рыбалка, я перечитываю две-три страницы о том, как Ник Адамс разбивает лагерь на речном берегу, как разводит огонь, разогревает макароны с бобами, а затем, залезая в палатку, мечтает о завтрашней ловле форели...

Но не вернуться ли нам в лоно русской литературы? И вот здесь, без сомнения, первый писатель-рыбак, о котором мы вспомним, — это Аксаков. Его “Записки об уженье” до сих пор сохраняют своё лицо, место, значение, даже на фоне великой русской литературы. Тихий голос Аксакова слышен доселе — и это само по себе удивительно! Казалось бы, как, спустя почти двести лет — и каких лет! — можно внимать этим тихим речам об удилищах и поплавках, о поиске мест для уженья, о добывании раков или сучении лес — обо всём, из чего состоит благословенное ремесло рыболова?

Но то, что напоминает о рае и приближает к нему, — а такова, без сомнения, проза Аксакова, — всегда будет желанно и душеполезно. Когда читаешь Аксакова, кажется, что слушаешь человека, который не только сам жил в раю и сохранил о нём самые свежие воспоминания, но что он пребывает в нём и доселе, завораживая читателей воистину райской, неспешною музыкой речи. Свет доброты и любви — вот чем лучатся страницы Аксакова; в этом свете бледнеют невзгоды и страсти, стихает пустое томленье души, и сам понемногу становишься тем самым мальчиком ангельских лет, для которого мир так же ясен и добр, как ясна и тиха та вода, на которой лежат поплавки... “Каждый... достигнув старости, находит отраду в воспоминании того живого чувства, которое одушевляло его в молодости, когда с удочкой в руке, забывая и сон, и усталость, страстно предавался...своей любимой охоте. Он, верно, с удовольствием вспоминает это золотое время... И я помню его, как давнишний, сладкий и не совсем ясный сон; помню знойные полдни, берег, заросший высокими, душистыми травами и цветами, тень ольхи, дрожащую на воде, глубокий омут реки, молодого рыбака, прильнувшего к наклонённому над водою древесному пню, с повисшими вниз волосами, неподвижно устремившего очарованные глаза в тёмно-синюю, но ясную глубину...”

Разве дело, в конце концов, в рыбе? Дело в том равновесии между внешним и внутренним, между действием и созерцанием, меж тобою и миром, какое и возникает во время рыбалки. И в этом смысле рыбная ловля — это, конечно, духовная практика, ничуть не менее эффективная, чем какая-нибудь медитация йогов.

Рыбалка даёт возможность ощутить себя человеком во всей полноте. Здесь будет уместно вспомнить рассуждение Исаака Уолтона из его уже упомянутой книги “Совершенный рыболов, или Досуг созерцателя”. Что выше, спрашивает почтенный Уолтон, действие или созерцание? Человек практической жизни (каких на Западе большинство) выбирает, естественно, действие; монах или богослов — вероятней всего, изберёт молитву и созерцание. Так что же выбрать нам, простым людям, в качестве жизненного идеала? Выбирайте рыбную ловлю, советует мудрый старец из Стаффорда, ибо рыбалка сочетает в себе блага действия и созерцания разом. И, добавим, хороший улов, который вам, может быть, выпадет после долгих дней неудач и бесплодных попыток, будет сразу и вашей наградой за труд и терпение, и, в то же самое время, особенной милостью, даром небес.

Наша тема имеет ещё и такой поворот. Несомненно, что идеалом европейской цивилизации является всё-таки действие: именно homo activus так изменил окружающий мир, что теперь человек и не знает, как ему совладать с теми демонами, которых он так легкомысленно выпустил из колб и реторт научно-технического прогресса.

Идеал же Востока — пассивность, покой, созерцание. Но и пассивность даосов или индусов не решает проблем человечества. Взять хотя бы уж то, что созерцатель не может сам себя защитить от напора и натиска внешнего, агрессивно-активного мира.



А вот рыбная ловля, сочетающая действие и созерцание, служит наглядным примером того, что идеалы Востока и Запада всё-таки совместимы. Больше того: лишь в таком совмещении несовместимого, в союзе тех сфер бытия, которые лишь внешним образом противоречат друг другу, но в онтологической глубине друг без друга невысказаны и невозможны — лишь в такой диалектике противоречий жизнь способна себя сохранить и продолжить. И, как бы пафосно ни восклицал Редьярд Киплинг, что “Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись”, — но рыбак с удочкой, тихо замерший возле воды, собственным существованием опровергает такие прогнозы и лозунги.

Пока обо всём этом думалось, продолжались прогулки по старой Казани — городу, тоже явившему нечто, казалось бы, невозможное: союз Запада и Востока, креста и полумесяца, ислама и христианства. В целом мире не так уж и много таких “узловых” городов, где сплетаются веры, обычаи и языки.

Имперский дух ощущаешь в Казани на каждом шагу: и у башен кремля, и возле колонн старых зданий Казанского университета, и на чугунных мостах Булака, и на пешеходных, пышно-ампирных улицах центра. Особенно нравилось мне гулять по Казани рано утром, когда ночная жизнь затихала, а дневная ещё не оживлялась, и ноги сами несли по пустому, просторному, гулкому городу. Только, пожалуй, ещё Петербург так похож по утрам на огромный музей, где переходишь из улицы в улицу, словно из зала в залу, — и это не тени домов и оград лежат на мостовых, а некие призраки прошлого. . .

В одну из таких одиноких прогулок я подошёл к зданию старой казанской гимназии — той самой, в числе первых учеников которой были братья Державины и которая позже была преобразована в университет. Облик здания поражающе величавою статью. Громадное, занимавшее целый квартал, фасадом оно копировало афинский Парфенон — и в колоннах его, в треугольном фронтоне, в пропорциях окон, дверей, этажей ощущался классический, строгий и вместе с тем радостный дух преклонения перед наукой и перед живым, благородным умом человека.

“Так вот где учился Серёжа Аксаков. . .” — подумал я, тронув тяжёлую дверь, и она, к моему удивлению, тихо открылась. Вестибюль был гулок и сумрачен; словно на кладбище или в музее, мне было неловко тревожить дремотные тени былого. Да, вот именно здесь белокурого восьмилетнего мальчика впервые забрали от его обожаемой мамочки и увели, чтоб остричь и надеть на него казённый мундир. Но предоставим слово самому Аксакову: “После обеда. . . надели на меня форменную мундирную куртку, повязали суконный галстук, остригли волосы под гребёнку, поставили во фронт по ранжиру, по два человека в ряд, подле ученика Владимира Граффа, и сейчас выучили ходить в ногу. Я всё исполнял, как говорится, машинально: точно дело шло не обо мне. По окончании классов Упадышевский (старший надзиратель гимназии. — **А. У.**) встретил меня у дверей и, сказав: “Матушка тебя дожидается”, — отвёл меня в приёмную залу. Отец с матерью были там; отец, увидя меня, рассмеялся и сказал: “Вот как перерядили Серёжу”. А мать, которая в первую минуту меня не узнала, всплеснула руками, ахнула и упала без чувств. Я закричал, как иступлённый, и также упал у её ног. . . Обморок моей матери продолжался около получаса. . .”

Но, несмотря на такое начало учёбы, с годами Серёжа Аксаков так полюбил и гимназию и, позднее, университет, что уже стариком он спел настоящую оду студенчеству: “Прощай, шумная, молодая, учебная жизнь! Прощайте, первые, невозвратные годы юности, пылкой, ошибочной, неразумной, но чистой и благородной! Ни свет, ни домашняя жизнь со всеми их дрянностями ещё не помрачали вашей ясности! Стены гимназии и университета, товарищи — вот что составляло полный мир для меня. Там разрешались молодые вопросы, там удовлетворялись стремления и чувства! Там был суд, осуждение, оправдание и торжество! Там царствовало полное презрение ко всему низкому и подлому, ко всем своекорыстным расчётам и выгодам, ко всей житейской мудрости — и глубокое уважение ко всему честному и высокому, хотя бы и безрассудному. Память таких годов неразлучно живёт с человеком и, неприметно для него, освещает и направляет его шаги в продолжение целой жизни, и куда бы его ни затащили обстоятельства, как бы ни втоптали в грязь и тину, она выводит его на честную, прямую дорогу. Я, по крайней мере, за всё, что сохранилось во мне доброго, считаю себя обязанным гимназии,

университету, общественному учению и тому живому началу, которое вынес из отсюда. Я убежден, что у того, кто не воспитывался в публичном учебном заведении, остаётся пробел в жизни, что ему недостает некоторых, не испытанных в юности ощущений, что жизнь его не полна...”

И где-то здесь, в старом здании университета, хранились коллекции бабочек, которых юный Аксаков ловил по казанским садам и оврагам. Вообще, “Собирание бабочек” – самое “казанское” из сочинений Аксакова. Недаром и адресован очерк именно казанскому студенчеству: писатель уже перед самой смертью отослал его в благотворительный сборник казанского университета.

И Казань в этом очерке – живая и пёстрая, полная шума, движения, лиц, голосов. Вот, например, описание ярмарки на берегу Булака – ныне очень красивого, в фонарях и фонтанах, канала: “Целые стаи больших лодок, нагруженных разным мелким товаром, пользуясь водопольем, приходят с Волги через озеро Кабан и буквально покрывают Булак. Казанские жители всегда с нетерпением ожидают этого времени как единственной своей ярмарки, и весть: “Лодки пришли!” – мгновенно оживляет весь город... По берегам Булака устроивается шумное гулянье; публика и народ толпятся по его грязным и гадким набережным, точно как в Москве под Новинским на святой неделе. Между множеством разного товара, между апельсинами и лимонами привозится огромное количество посуды фарфоровой, стеклянной и глиняной муравлёной, то есть покрытой внутри и снаружи или только изнутри зелёным лаком. В числе посуды привозят много глиняных и стеклянных ребячьих игрушек, как то: уточек, гуськов, дудочек и брызгалок. В это время по всем казанским улицам, и особенно около Булака, толпы мальчишек и девчонок, все вооружённые новыми игрушками, купленными на лодках, с радостными лицами и каким-то бешеным азартом бегают, свистят, пищат или пускают фонтанчики из брызгалок, обливая водой друг друга и даже гуляющих, и это продолжается с месяц. Вид такого, чисто народного торга и гулянья, куда аристократия Казани приезжает только полюбоваться на толпу, смесь одежд татарских и русских, городских и деревенских очень живописны...”

А сады и овраги старой Казани? Аксаков изображает их, как Эдем, уют райских утех, место восхищённого любования чудесами Божьего мира. И делает это с такой свежестью слова и чувства, какую трудно даже предположить в слепом старце, стоящем на пороге могилы. Бродя в зарослях Болховского или Неёловского садов – или вспоминая об этих блужданиях, – Аксаков и находился, по сути, в раю, в такой близости от исполнения заветной мечты человека и человечества, какая нам, людям, даётся лишь в награду за чистую, светлую жизнь. Такую-то именно жизнь и прожил сам Аксаков, оставив потомкам не только образец живого и благородного языка, но ещё и образчик светлого и благодарного отношения к жизни.

И описание бабочек стало последним подарком писателя нам – тем, кто доныне сопровождает Серёжу Аксакова в его самозабвенной погоне за Подалириусом-Махаоном, вождённой мечтой юного казанского натуралиста.

Аксаков первым привёл бабочек в русскую литературу – и, согласитесь, без них пейзаж нашей словесности был бы много скучней и бесцветнее. Это уже после Аксакова о бабочках писали и Афанасий Фет, и Арсений Тарковский – “Из тени в свет перелетая, // ты и сама и тень, и свет...” – и Иван Бунин, с его чудо-строфой:

*Всё так же будет залетать  
Цветная бабочка в шелку,  
Порхать, шуршать и трепетать  
По голубому потолку...*

И это уже после Аксакова о бабочках заговорил наш “одиноким король в изгнании” – Владимир Набоков. Правда, он, единственный среди русских писателей лепидоптеролог-профессионал (приходившийся, кстати, дальним родственником Аксакову), отзывался об аксаковских описаниях бабочек со снисходительным высокомерием, не делающим чести Набокову и ничуть не умаляющим заслуг и достоинств Аксакова. Пятнадцатилетний юноша, занимавшийся изучением бабочек всего только три летних месяца, да ещё в 1806 году,

на заре современной науки, конечно, находились и Набоковым в разных, так сказать, весовых категориях.

В аксаковском “Собирании бабочек” восхищают даже не столько сами чудесные эти создания — “порхающие цветы”, как назвал их Аксаков, — сколько тот изобильный и радостный мир, в котором летают бабочки. А ещё в этом мире есть и добрейший аксаковский дядька Евсеич, и обрусевший немецкий профессор Карл Фукс, благодетель города и горожан (у него, кстати, гостил Пушкин, разыскивавший в Казани следы Пугачёва), и толпы народа на ярмарках по берегам Булака, и товарищи Аксакова по университету, и ливень с грозой и градом, захвативший юношу по дороге домой, на “вакацию”, и деревня крещёных татар, и радость семейства, которое встретило любимого сына и брата, и, конечно, तो пламя восторга, какое Серёжа Аксаков испытывал по отношению к бабочкам.

Порой кажется, что бабочки — это посланницы рая. Избыточно-лишняя их красота рождена как бы вовсе не здесь, не на грешной земле; она нас зовёт, окликает, волнует, призывая опомниться и перестать, наконец, жить одной лишь заботой и злобой текущего дня. Бабочки — это одновременно и оклик, и зов; это сразу и память о тех безмятежных мирах, где мы жили когда-то, и упование вновь эту райскую жизнь обрести.

Конечно, о рае нам говорят не одни только бабочки: Божий мир полон дивных чудес. Но именно в бабочках, в ошеломляюще-яркой их красоте откровенней всего проявляется щедрость Творца. Словно чья-то рука зачерпнула из Божьих запасов живых драгоценных камней, да и бросила в мир эту яркую и самоцветную россыпь.

А в том, как живут, развиваются бабочки — в том, что биологи называют метаморфозой, — разве не содержится в этом важнейший для всех нас урок? Вот ползёт по листу ненасытная гусеница — неважно, голая или мохнатая, маленькая или большая, яркая или скромно-бесцветная, — но она озабочена только одним: набиванием ненасытной утробы. Это апофеоз потребительства: ничего, кроме еды, гусеницу не интересует ничего. Но разве не таковы, подчас, и мы с вами? Разве наша цивилизация потребления не толкает нас, в сущности, лишь к утолению первичных, животных желаний? Разве мы с вами порою не те же самые гусеницы, что ползут по листу своей жизни, бездумно и жадно его пожирая и оставляя после себя одни экскременты?

И что же в конце концов? Правильно, смерть. Но это смерть только с точки зрения гусеницы. Нас закутывают в погребальные пелены — иногда, для надёжности, ещё обивают снаружи досками и присыпают землёй — точно так, как и гусеница, превращаясь в куколку-хризалиду, одевается саваном хитиновой оболочки. И прежняя гусеница, такая жирная и некрасивая, озабоченная только телесным и сиюминутным, перестаёт существовать. Но при этом она — что всего поразительней! — не исчезает. Наступает метаморфоза — то есть преображение. Уснувшая гусеница возрождается, но уже в новом качестве. Уныние будней сменяется радостью праздника; бескрылая, рабская тяжесть — свободой полёта; сумерки монотонной борьбы за существование озаряются светом, в котором порхает оживший цветок...

Вообще, метаморфоза — один из любимых сюжетов мировой литературы. Знаменитый роман Апулея, который с таким увлечением читал юный Пушкин, продолжили “Метаморфозы” Овидия, а затем ещё множество разных писателей соблазнились идеей о преображении-метаморфозе. Причём иногда это была “метаморфоза наоборот”, как, например, случилось с героем Кафки господином Замзой. Ещё можно вспомнить и “Сказку о гадком утёнке”, и “Золушку”, и даже набоковское “Приглашение на казнь”. Ведь там Цинцинат Цинцинат (вряд ли, кстати, случайно двойное и как бы латинское имя героя) словно томится на стадии куколки, в которой болезненно зреет его ожидающее преображения существо. Окружающий мир — это мир гусениц; стены тюрьмы, в которую заключили героя, — как бы хитиновый саван; наконец, его казнь, разрушающая иллюзии и декорации прежнего существования, — это выход в иные пространства свободы, где псевдоказнённого ожидают те, настоящие, кто “подобны ему”.

И понятно, почему метаморфоза — любимый литературный сюжет. Ведь все мы, по сути, хотим одного: жить в раю. Но мы, вместе с тем, понимаем: такие, как есть, рая мы недостойны. Без преображения своего существа,

без его исправления и просветления мы притащили б и в рай только прежних себя и превратили бы кущи Эдема в привычные адские дебри.

А вот глядя на бабочек, веришь, что невозможное всё же возможно. Да, их красота как бы лишняя, — если смотреть с точки зрения гусениц, — и она не нужна для того прагматичного мира, в котором мы с вами живём. Но в то же время нет ничего ни важней, ни дороже, чем эта вот “лишняя” их красота. Именно созерцание бабочек заставляет нас остро почувствовать хрупкость и призрачность всей земной красоты и уповать на грядущее возвращение в рай.

Завершить же казанские очерки хочется текстом Аксакова. Тем более, что это последние строки, которые начертала рука одного из добрейших, душевнейших русских писателей. “Быстро, но горячо прошла по душе моей страсть — иначе я не могу назвать её — ловить и собирать бабочек. Она доходила до излишеств, до крайностей, до смешного; может быть, на несколько месяцев она помешала мне внимательно слушать лекции... но нужды нет! Я не жалею об этом. Всякое бескорыстное стремление, напряжение сил душевных нравственно полезно человеку. На всю жизнь осталось у меня отрадное воспоминание этого времени, многих счастливых, блаженных часов. Ловля бабочек происходила под открытым небом, она была обставлена разнообразными явлениями, красотою, чудесами природы. Горы, леса и луга, по которым бродил я с рампеткою, вечера, когда я подкарауливал сумеречных бабочек, и ночи, когда на огонь приманивал я бабочек ночных, как будто не замечались мною: всё внимание, казалось, было устремлено на драгоценную добычу; но природа, незаметно для меня самого, отражалась на душе моей вечными красотою своими, а такие впечатления, ярко и стройно возникающие впоследствии, — благодатны, и воспоминание о них вызывает отрадное чувство из глубины души человеческой”.

*г. Калуга  
2014*